

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	9
Глава 1. Слоновья Башка.....	11
Глава 2. В 93 миллионах миль отсюда.....	17
Глава 3. Ворон.....	31
Глава 4. День дурака.....	38
Глава 5. Терраццо. Терраццо. Терраццо.....	51
Глава 6. Непробиваемая отрешенность.....	67
Глава 7. Явись — или пеняй на себя.....	77
Глава 8. Просто проездом.....	93
Глава 9. Бродяга.....	107
Глава 10. Хитрый валлийский лис.....	132
Глава 11. Ты — звезда спектакля.....	143
Глава 12. Дни вина и роз.....	164
Глава 13. Будь благоразумен, подумай.....	178
Глава 14. Это тебя прикончит.....	186
Глава 15. Нью-Йорк.....	198

Глава 16. Паb Ship Inn	217
Глава 17. Смерть придет тогда, когда придет	230
Глава 18. Он человек, и от этого еще страшнее	240
Глава 19. Бобы и кьянти.....	248
Глава 20. Жизнь, жизнь, жизнь!.....	261
Глава 21. Голоса в голове	267
Глава 22. Голливудская улыбка	291
Глава 23. Из ничего не выйдет ничего	305
Глава 24. Храни свой талант в тени	314
Глава 25. Чем старше я, тем меньше знаю	329
Приложение 1. Фотоальбом.....	341
Приложение 2. Сборник любимых стихов.....	379
Благодарности.....	413
Об авторе.....	423

*...Не осмеивать человеческих поступков,
не огорчаться ими и не клясть их, а понимать¹.*

Барух Спиноза. Политический трактат

¹ Спиноза Б. Политический трактат // Этика. О Боге, человеке и его счастье. — СПб.: Азбука-Аттикус, 2023.

ВВЕДЕНИЕ



Серым воскресным утром 1941 года в песчаных дюнах на пляже Аберавон отцовский приятель Клифф Мэзерс протянул мне леденец. Тогда, в военные годы, сладостей мы почти не видели. То было время карточной системы. Замешкавшись, я уронил леденец в песок и разревелся. Отец с Клиффом только рассмеялись. Мне дали вторую конфету. Отец наклонился, чтобы меня успокоить. Слезы высохли. Клифф сделал фото. Одно из самых ранних моих воспоминаний. Мне было три года.

Сейчас, в свои 87, я иногда поглядываю на этот снимок, и мне так и хочется сказать тому растерянному мальчугану: «Мы справились, парень».

Как и большинство детей, я испытывал тревогу и замешательство. Но таково уж детство — ты слишком юн, чтобы постичь хоть какой-то смысл бытия. Это странное ощущение — что я запутался и не справляюсь — сопровождало меня всю жизнь. Я удивлен — или лучше сказать *озадачен*? *Ошарашен*? Да, *ошарашен* — тем, что я все еще тут. Этому нет объяснений.

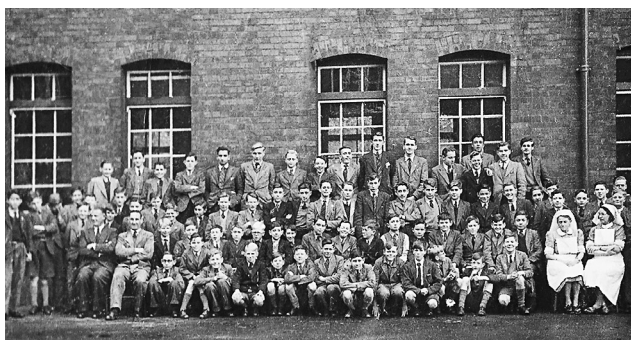
Неизгладимая метка, впечатанная в мое нутро, — чувство вечной неприкаянности.

Но я оказался крепким орешком. Именно таким был мой отец — не признавал ни глупостей, ни нежностей. Его главное наставление: «Просто делай свое дело. Держи хвост пистолетом и не ной». Неплохой совет. И второй: «Жизнь — штука суровая. Ну и что? Не сдавайся». Жестковато, конечно, но это помогло мне выстоять. Таков был он, мой старик. Ричард Артур Хопкинс.

Его больше нет, он умер. Существует ли он в каком-то другом измерении — в загробном мире или где-то еще, что мы себе придумываем в утешение, — я не знаю. Но он засел глубоко во мне, как острые осколки битого фарфора.

Жизнь моя — одиночество. Так было всегда. Ну и ладно, невелика беда. Даже неплохое вышло путешествие, если разобратся, — потому что я не жертва. Я нашел применение этим черепкам — одиночеству, отчужденности, тревоге, как их ни назови. И теперь я им благодарен. Эти занозы и внутренние шпоры не давали мне остановиться — и в конце концов привели туда, где я сейчас.

СЛОНОВЬЯ БАШКА



В другое промозглое серое воскресенье — на сей раз в сентябре 1949 года — я, 11-летний, стал самостоятельным человеком. В тот день мать с отцом отвезли меня в школу-интернат — здание XIX века из красного кирпича на холме над городком Понтипул в Монмутшире.

Школа Вест-Монмут или кратко Вест-Мон, — готическое сооружение с высоченными шпилями и барельефом над входом, на котором два барана держат свиток с надписью «СЛУЖИ И ПОВИНУЙСЯ». Здание имело зловещий вид и смахивало на дом с привидениями, а пронизывающий до костей монмутширский дождь, раскаты грома и порывы ветра довершали картину. Я возненавидел это место с первого взгляда.

Меня оставили там, потому что мать мечтала дать мне приличное образование. Отец отнесся к затее прохладно — чтобы обеспечить мне возможность учиться, требовалась уйма денег, заработанных тяжелым трудом.

Я был на стороне отца, потому что школа интересовала меня мало. К чему выбрасывать деньги? Я никогда не хватал звезд с неба, и надежды на улучшение ситуации практически не было. Учителя с мертвенно-бледными лицами из начальной школы в Порт-Толботе, где я учился прежде, давно поставили на мне крест, а один особо мерзкий наградил кличкой Дэннис-тупица.

Для соседских мальчишек я был Слоновьей Башкой. Голова у меня была здоровенная и смотрелась на тщедушном теле довольно нелепо. Родители думали, что у меня водянка головного мозга, но детский врач доктор Брэй заверил их, что я совершенно нормален.

— Его просто надо откормить, — сказал наш славный доктор.

То, что родители сдали меня в школу Вест-Мон, не было катастрофой. Просто один из досадных ухабов на жизненном шоссе, не более того, — но почему-то именно тогда во мне проросло зерно безразличия. Я дал себе слово, что отныне буду рассчитывать только на себя и больше никогда не подпущу к себе ни мать, ни отца — да и вообще никого. Мне стало все равно. Я решил жить на своих условиях, смотреть вперед. Забыть прошлое. Детство кончилось. Вас понял. Конец связи. Бог вошел в машину¹.

¹ Отсылка к философскому термину «бог в машине» (или «призрак в машине»), введенному британским философом Гилбертом Райлом в 1949 году. Хопкинс использует эту метафору для описания своей психологической диссоциации: его тело стало бесчувственным «механизмом» для выживания.

После короткого знакомства с директором мистером Харрисоном и его пышнотелой жизнерадостной супругой, после беглого осмотра спальни — 16 коек, втиснутых в квадратную комнату с больнично-зелеными стенами, — мы с родителями вернулись к парковке у главного входа. Мать с отцом сели в машину и уехали. На выезде солнце блеснуло на лобовом стекле. Сквозь блик я разглядел, как мать помахала мне рукой. Отец смотрел на дорогу, и я не стал махать в ответ.

Их машина — начищенный до блеска Ford Model C Ten — скрылась за поворотом подъездной аллеи, а я запомнил номер: ВТХ 698. Весь остаток того сырого осеннего дня я бормотал его себе под нос снова и снова: «ВТХ 698. ВТХ 698. ВТХ 698».

Школьный девиз гласил: «Верь, добивайся, преуспевай, служи и повинуйся». Школьный гимн был еще тоскливее: «Мы маршируем с радостной песней, с песней победы». Эту чушь полагалось горланить каждое утро на общей линейке перед утрюмым преподавательским составом.

Один из воспитателей в той кирпичной тюрьме был бессердечным солдафоном; он участвовал в Североафриканской кампании против немецкого генерала Роммеля. Я прозвал его Лоб — лицо у него было красным как вареный лобстер. Он заявил мне, что все мои достоинства и перспективы — «сплошные лохмотья и тряпье». Мне понравилось, как это звучит — смешно и театрально.

— Тише, тише, тише, — бормотал я. — Я тот, кто я есть, кто я есть. Я — король старьевщиков, повелитель лохмотьев и тряпья.

А еще я отлично корчил из себя клоуна. Изображал то пугало из «Волшебника из страны Оз», то Белу Лугоши

ния, а живая душа превратилась в призрака, спрятавшегося глубоко внутри. — *Здесь и далее прим. пер.*

в роли Дракулы, то Бориса Карлоффа² в роли чудовища Франкенштейна. У меня пугающе здорово получалось копировать голоса и звуки, которые я слышал. Я мог заржать как лошадь или залаять. Еще я изображал Багза Банни: «В чем дело, Док?» Элмера Фадда. Даффи Дака. Порки Пига. «В-вот и все, ребята!»

Когда я в очередной раз выдал свой скомороший номер и кое-кто из мальчишек рассмеялся, Лоб вывел на доске:

«Чем человек достойнее овец или коз, коль разум его слеп?» — Альфред Теннисон.

Нам велели переписать это 20 раз. Я отнесся к происходящему с мрачным юмором. Выводя слова в тетради, я блял — то козой, то овцой. Лоб ринулся ко мне по проходу. Оплеуха. Снова бляение. Снова оплеуха.

Чем больше оплеух я получал, тем активней пускал в ход свой главный трюк выживания — взгляд, полный безмолвной, непробиваемой отрешенности. Этот взгляд выражал мое полное равнодушие к окружающей враждебности. Никакой реакции. Смотреть в упор. Делать вид, что их не существует. Мне нравилась эта новообретенная сила. Не показывать боли! Зарыть боль поглубже, замести ее под ковер и идти дальше. Взрослых это бесило — а мне только того и надо было.

И хотя жить в этом жутком месте было донельзя тоскливо, именно там я впервые столкнулся с Уильямом Шекспиром.

Дело было в субботу вечером. Нас, мальчишек, согнали в актовый зал — слава богу, обошлось без школьного гимна — смотреть кино. Настоящий звуковой фильм. Школа арендовала кинопроектор и наняла киномеханика мистера Гордона Филлипса. Это было нечто новое и захватывающее.

² «Дракула» (1931) и «Франкенштейн» (1931) — классические американские фильмы ужасов студии Universal.

Мы сидели на деревянных стульях и ждали. Наконец в зал вплыл мистер Харрисон, директор, — его мантия развевалась, подчеркивая значимость этого эпохального события. За ним, подобно линкору, следовала его громогласная необъятная жена, старуха Ма Харрисон. Следом потянулись учителя. Макс Хортон, Лоб Гарнетт и прочие. Мистер Харрисон велел сидеть тихо: не болтать, не ерзать, не смеяться. Любого нарушителя ждало выдворение из зала, а затем, как рисовало наше воображение, немедленная казнь в спортзале.

— Итак, «Гамлет» — это очень важный фильм, — провозгласил мистер Харрисон. — Мистер Лоренс Оливье, величайший шекспировский актер в мире, выступил режиссером этой картины и, более того, со всей страстью взялся донести до широкой публики могучие слова и мудрость уорикширского барда, мистера Уильяма Шекспира.

О господи, спаси и помилуй! Только не Шекспир. Избавьте нас от этой занудной тяготины.

Мистер Харрисон разливался соловьем еще минут пять, вещая про Шекспира и мистера Оливье. Наконец он воздал почести нашему киномеханику мистеру Гордону Филлипсу из Гриффитстауна.

«Какой унылый час нам предстоит!» — подумал я. Мы дружно повернулись к мистеру Филлипсу из Гриффитстауна. Мистер Харрисон велел нам сказать: «Спасибо, мистер Филлипс из Гриффитстауна». У меня было чувство, что я попал в ад.

Мистер Филлипс из Гриффитстауна, застывший наизготовку между двумя кинопроекторами, оказался кругленьким молодым человеком с лоснящимся лицом. Волосы его были приглажены бриолином, а по случаю события он нацепил голубую бабочку. Это точно был ад.

На сцене установили большой киноэкран.

В зале приглушили свет. На экране замелькала знакомая заставка кинокомпании Артура Рэнка: удар в гигантский гонг, надпись «J. Arthur Rank Enterprise», темный экран. А потом — вдруг — мощные вступительные аккорды музыки Уильяма Уолтона.

Это было... потрясающе. Сцена на крепостной стене. Призрак отца Гамлета. Замок Эльсинор изнутри. Оливье. Его первый монолог:

*О, если б этот плотный сгусток мяса
Растаял, сгинул, изошел росой!³*

Я просидел как замороженный до самой последней строчки монолога:

Но смолкни, сердце, скован мой язык!

Ничто прежде не производило на меня такого впечатления. Это был взрыв. Я еще не мог понять структуру «Гамлета», уловить его тонкости — архаичные слова, незнакомый, непривычный язык, ритм и строй фразы.

Но мне казалось, что Оливье в роли Гамлета обращается ко мне — к какой-то давно исчезнувшей, древней моей части. Это было потустороннее переживание. Скорбь Гамлета по отцу, предательство матери, изменившей памяти мужа. Я плакал, раздавленный этой эпической картиной покалеченных отцов и матерей — и того, как всех нас преследуют призраки памяти. Я был слишком молод, чтобы уловить временный смысл этих слов. Но некая могучая сила прорвалась в самый центр того существа, которым я тогда был.

³ Здесь и далее текст «Гамлета» в пер. М. Лозинского.

В 93 МИЛЛИОНАХ МИЛЬ ОТСЮДА

Мои успехи в той первой школе-интернате равнялись нулю, так что бедным родителям пришлось пересмотреть перспективы моего образования. В полном отчаянии они искали того, кто помог бы мне совершить прыжок с шестом на сияющие вершины учености, того, кто мог бы, как они шептались, «замолвить словечко, так сказать».

Я словно очутился в какой-то запутанной шекспировской комедии — сплошные перемигивания и реплики в сторону. Полагаю, мне следовало бы чувствовать себя польщенным, находясь в центре таких интриг, но я ощущал себя болваном, выставленным на продажу. Я не хотел иметь к этому никакого отношения.

В конце концов нас вывели на загадочную фигуру — человека со связями. Моим спасителем должен был стать дядя Эдди, который, как мне объяснили, жил в районе Рест-Бей в Портколе и был «без всякого гонора» — то есть человек прямой, без двойного дна.

Так вышло, что этот великий человек, которого все звали дядя Эдди, приходился родней моему отцу. «Они купаются в деньгах», — говорил отец. Вся эта родня — престарелые тетуски и дядюшки, жившие на улице Сент-Мэри, — пред-

ставляла собой *крахах* из Рест-Бей. Этим словечком — *крахах* — презрительно называли валлийскую элиту, державшую в своих руках систему образования в Уэльсе.

Ни один из двух моих дедов подобной заносчивостью не отличался. Дедушка Хопкинс — или Дедушка Х., как я его называл, — был крепкий старикан. И обожал это демонстрировать.

Каждое утро он принимал холодную ванну, а затем вкалывал весь день.

— Я как камень, — говорил он, вытягивал правую руку, сжимал кулак, потом растопыривал пальцы. — Видишь — совсем не дрожат. Вот это настоящая сила. В этом мире надо быть крепким. Выживает сильнейший.

Он родился в 1878 году в Ните, в Южном Уэльсе, и, согласно легенде — скорее всего, придуманной им самим, — зайцем добрался до Лондона в товарном вагоне, сбежав от пьянчуги-отца. Сняв угол в Бермондси, на юго-востоке Лондона, почти без гроша в кармане, он устроился мыть и скоблить полы в немецкой пекарне неподалеку от Пикадилли.

Дедушка Х. быстро понял, что пекарня — место безрадостное, а труд там каторжный, но со временем стал настоящим мастером своего дела, пекарем и кондитером высшего класса. Позже он завоевывал призы на пекарских выставках в лондонском Эрлз-Корте. У меня до сих пор хранятся его серебряные кубки, многие — с гравировкой. На одном из них значится: «Артур Ричард Хопкинс. 1924. Первый приз за булочки с изюмом».

Детали его биографии, возможно, и были слегка приукрашены, но в них чувствовалась подлинность, и я восхищался стариком. Правда, он не слишком-то меня жаловал — разве что ему нравилось, когда я играл для него на пианино. «У Эн-

тони довольно большая голова, — сказал он как-то моей матери. — Жаль только, что внутри пусто».

Вот таким был дедушка Хопкинс. Однажды он рассказал мне про парня по имени Джеральд, с которым работал в той самой лондонской пекарне. Джеральд женился на молодой женщине, и они пытались прокормить маленькую дочку, но еды не хватало. Джеральд был тяжело болен. Дед считал, что у него чахотка — туберкулез: сухой надрывный кашель был одним из симптомов. Однажды утром Джеральд не вышел на работу, и старший мастер объявил, что ночью молодой человек скончался от пневмонии. Остальные пекари промолчали. Работа продолжилась как обычно.

Дед Хопкинс стал рабочим агитатором. Отцу он рассказывал, что однажды встречался с Владимиром Лениным. Это вполне могла быть и байка — часть его собственной легенды. Но могло оказаться и правдой, ведь Ленин действительно жил в Лондоне в эмиграции. Там же жил и Лев Троцкий, так что в ту пору политическая жизнь в тех местах была полна марксистских идей.

В конце концов дедушка Хопкинс и моя бабушка Эмми вернулись в Уэльс с тремя маленькими детьми — Мириам, Ричардом и Лорной, но жилось им там трудно.

Уэльс нередко называют Страной песни. Дилан Томас в своей пьесе «Под сенью молочного леса» создал его мифологический образ. Но правда в том, что в Уэльсе, который знала моя семья, не было ничего живописного, романтического или пасторального.

В 1921 году, когда отцу исполнилось 14, его без предупреждения забрали из школы, чтобы он вкалывал в семейной пекарне, и он проработал там до 1936 года.

Другую ветвь нашего семейного древа представлял мой дед по матери. Звали его Фредерик Томас Йейтс. Родом он

был из Пьюси, графство Уилтшир. Когда я расстраивался, он неизменно повторял: «Что было, то прошло. Слезами горю не поможешь. Не бери в голову».

Дед работал на железной дороге и сортировочных станциях в Суиндоне, а затем перебрался в Южный Уэльс, где строился новый сталелитейный завод. Там он встретил Софию Филлипс, ученицу портнихи из ателье в Кармартене. Они поженились и осели в Порт-Толботе. Вскоре на свет появились две девочки. Первой, в 1913 году, родилась моя мать Мюриэл.

Вторую, Дженни, дедову любимицу, унесла дифтерия, когда ей было девять. Моей матери тогда исполнилось двенадцать. Однажды за завтраком они услышали глухой удар на лестничной площадке наверху. Дед выскочил в коридор и увидел Дженни, осевшую у перил. Он взлетел по ступенькам и подхватил ее на руки. Девочка была мертва.

Мать рассказывала мне, что в день похорон Дженни, когда гроб выносили к катафалку, она слышала, как ее отец беспомощно, безутешно рыдал в узком проходе на заднем дворе.

Но на следующий день он как ни в чем не бывало вышел на работу, сел за рычаги своего крана на сталелитейном заводе. Когда его спросили, не хочет ли он взять пару отгулов, он отказался.

— Я ведь ее не верну, так? — сказал он. — К чему все это заново ворошить? Ее не вернуть. Умерла — значит умерла. Прошрое мертво — там ничего нет.

И он больше никогда не говорил о своей любимой дочери.

Но вернемся к дяде Эдди — Эдди Джеймсу, перед которым преклонялась вся родня и о котором говорили благоговейным шепотом: «Он часто ездит в Лондон. Ну, знаете, дела и все такое. Завтракает в поезде с самим Наем Бивеном, нашим министром здравоохранения».

Кроме того, дядя Эдди был редактором кардиффской газеты *Western Mail*. Он знал «больших шишек» в валлийском совете по образованию. Какой мне от этого мог быть прок, я понятия не имел.

Одним душным воскресным днем нас позвала в гости тетя Пэтти — выпить чаю и познакомиться с дядей Эдди. Когда отец вез нас на Эспланейд-авеню, где жила тетя Пэтти, мать, сидевшая впереди, обернулась ко мне. Я разлегся на заднем сиденье. Она велела сесть прямо.

— Не вздумай так развалиться у тети Пэтти! Сядь ровно, веди себя прилично и перестань ерзать. Не забудь сказать «пожалуйста» и «спасибо», когда тетя Пэтти угостит тебя пирогом. Не сутулься. И не мямли, когда дядя Эдди будет тебя о чем-нибудь спрашивать.

Я смотрел в окно машины на проплывающую мимо набережную, и мысли мои унеслись к нашему прошлому семейному визиту. Такое же похоронно-воскресное сборище. Собрался весь выводок Хопкинсов. По крайней мере мне так показалось. Две отцовские сестры Мими и Лорна, дядя Билли, дядя Джек и мой двоюродный брат Бобби — мы все набились как сельди в бочку в затхлую гостиную дома дяди Дэйви Чарльза и тети Нетти на улице Сент-Мэри.

Мать в сотый раз наказала мне сидеть прямо и говорить «пожалуйста» и «спасибо» всякий раз, когда тетушке Нетти вздумается предложить мне черствый валлийский кекс на изящной фарфоровой тарелочке в цветочек.

И тогда меня пронзила упоительная мысль: *«Может, вскочить — прямо сейчас — и натурально слететь с катушек, как те психи из Бедлама? А что? Взять и спятить прямо здесь и сейчас — и расколотить эту дурацкую фарфоровую тарелочку в цветочек прямо о голову дорогой тетушки Нетти».*

Может, это и было первое зерно мести, посеянное в моем тугодумном мозгу. Зерно буйства и опасности.

Сидя в машине и вспоминая тот визит, я заметил, что отец смотрит на меня в зеркало заднего вида. Я поймал его взгляд и уже не в первый раз отметил, до чего же он похож на американского певца Бинга Кросби. И уставился на него в ответ. Непробиваемая отрешенность. Это его бесило.

— Понятия не имею, что из него выйдет. Он меня чертовски беспокоит, — бросил он матери.

— О господи, Дик, ну что ты заладил одно и то же. Хватит уже. И перестань чертыхаться. Надеюсь, ты у тети Пэтти дома так не будешь выражаться.

— Да к черту твою тетю Пэтти. Тетя Пэтти то, тетя Пэтти се. Святоши долбанные с Библией наперевес, вот они кто. Вся их чертова кодла.

— Тогда зачем мы к ним едем? Зачем мы вечно таскаемся к твоему отцу и твоим сестрам?

— Зачем? А потому что они при деньгах, вот зачем! Все надемся — авось что-нибудь перепадет. Чушь собачья. Вот что это такое.

Тоска и Уныние, эти два жутких валлийских близнеца, ехали с нами в машине тем душным летним днем.

Наконец мы остановились у дома тети Пэтти на набережной.

Отец нажал на кнопку звонка. В глубине дома раздался перезвон. Входную дверь открыла пухлая молодая женщина в черном платье и белом чепчике горничной. Дик скорчил жене гримасу, словно говоря: «Прошу прощения, что дышу, тут у нас все так солидно, особняк с эркером».

Нас провели в гостиную и предложили располагаться. Тетя Пэтти скоро выйдет. Я сел рядом с матерью на диван. Старался держать спину прямо, хоть и не понимал, зачем это

нужно. Отец стоял у занавешенного тюлем окна и разглядывал отдыхающих со всего Уэльса — детвора визжала и носилась, а вымотанные родители брели по тротуарам Эспланейдавеню и набережной бок о бок с одинокими обитателями долин. В тот хмурый день, казалось, весь город высыпал на улицу.

Отец был в своем обычном взвинченном состоянии: он то и дело отдергивал занавеску и нервно постукивал ногтем по стеклу: «Странно, правда?»

— Что тут странного? — устало отозвалась мать.

— Все эти люди на улице. Что они делают?

— Они отдыхают, Дик. Люди так делают. Нормальные люди этим занимаются. Сел бы ты. И хватит барабанить по стеклу. Сам не свой от нервов.

— Да не хочу я садиться. Мне и так прекрасно. Который час?

— Не знаю. Три с чем-то.

Вдалеке негромко пробили часы. В комнату вошла тетя Пэтти. Настоящий викторианский матриарх — невысокая, коренастая, но с идеальной осанкой и властным голосом контральто.

Она подошла к отцу и протянула руку.

— Ричард. Как поживаешь?

— Здравствуйте, тетя Пэтти. Хорошо, спасибо.

— Рада слышать. Хорошо, хорошо. Очень хорошо. — Тетя Пэтти повернулась к матери. — Марджори, верно?

— Мюриэл, — ответила мать.

— Мюриэл. Ну да, конечно. Мюриэл. — Потом она бросила взгляд на меня. — А это тот самый мальчик?

— Да. Энтони.

— Энтони. Ну да, конечно. Энтони.

Мать подала мне знак — мол, скажи: «Здравствуйте, тетя Пэтти».

Я повиновался.

— Здравствуйте, тетя Пэтти.

Властная старушка смерила меня взглядом с головы до ног, а затем коснулась моего лица.

— Так это ты у нас проблемный мальчик, да?

— Наверное, — выдавил я.

Мать засуетилась.

— Он не проблемный, тетя Пэтти. Просто немного тугодум, вот и все.

— А тугодум — это, по-твоему, не проблема? — отозвалась тетя Пэтти.

Повисла тишина. Тетя Пэтти снова окинула меня оценивающим взглядом. Поправила галстук. Надо было срочно что-то улучшать в этой картине.

— Наш Эдди сказал, что Энтони нужна помощь с поступлением в хорошую школу. Что произошло в школе Вест-Мон? — спросила тетя Пэтти.

— Ему там было очень тяжело, — ответила мать.

— Ну, знаете ли, в жизни не всегда бывает легко, — отозвалась тетя Пэтти. — В школу все равно надо ходить. Что ты ему подыскиваешь, Ричард?

— Мы надеемся устроить его в классическую школу Коубриджа.

Тетя Пэтти смахнула с блузки невидимые пылинки.

— Коубридж принимает только сыновей из семей профессионалов — врачей, адвокатов. Вы понимаете, о чем я. А сыновей торговцев... Ну, для мальчиков из таких семей лучше всего подходит как раз Вест-Мон. Вы хотите, чтобы Эдди дернул за пару ниточек. Так?

Мать ответила:

— Если это вообще возможно...

Отец пробурчал что-то насчет того, что нам, наверное, пора.

Неловкая пауза. Детские голоса с улицы. Автомобильный гудок.

— Ну что ж, — сказала тетя Пэтти. — Не желаете ли чаю?

Она подошла к двери, крикнула «Бесси, приготовь чай для гостей!» и, вернувшись, добавила:

— Эдди сейчас подойдет. После обеда Эдди непременно нужно вздремнуть. Сами знаете, как это бывает.

Отец не мог упустить случая съязвить:

— Каждый день после обеда? С чего бы? Он что, так устает?

На лице — воплощенная невинность. Мать метнула в него испепеляющий взгляд. Она-то знала, на что он способен.

— Ну, ты же понимаешь, Ричард. Он очень занятой человек. Пост редактора в *Western Mail*, Валлийский совет по образованию. Завтра, например, он едет в Лондон. На семи-часовом поезде из Кардиффа. У него запланирована встреча с мистером Бивеном и...

— Да что вы говорите! Знаком с самим Наем Бивеном? Вращается в высших кругах, значит?

Его тихий сарказм оказался выше понимания тети Пэтти.

— Да, можно и так сказать, Ричард. Можно и так сказать. Ни секунды покоя.

Она обернулась к дверям.

— А вот и Эдди.

В комнату вошел Эдди Джеймс — Великий Эдди. Внушительный мужчина с благородной сединой в волосах и в массивных очках в черной оправе. Дядя Эдди пересек комнату, подошел к отцу и стиснул ему руку так, что кости хрустнули, — рукопожатие старых друзей.

— Ричард! Я прекрасно знаю вашего отца. — Говорил он на отточенном валлийском английском, с раскатистыми баритональными гласными, точно оперный певец. — Дорогой

Артур Ричард! Как там поживает этот старый прохвост? Все еще в гуще дел Лейбористской партии, надо полагать?

Отец был сражен наповал напором дяди Эдди.

— Ну, вы же знаете, как оно бывает, дядя Эдди, он ведь уже не молод. Отошел от дел несколько лет назад.

— Мы все не молодеем, Ричард. Катимся под горку, как говорится. — Дядя Эдди повернулся и кивнул моей матери. — Миссис Хопкинс.

— Мюриэл, — поправила тетя Пэтти.

— Мюриэл. Ну разумеется.

С высоты своей благодушной приветливости дядя Эдди уставился на меня так, словно изучал образец инопланетной жизни.

— А вы, молодой человек, тот самый тугодум? Верно?

Мать, как по сигналу, зашептала мне: «Выпрямись, вынь руки из карманов и поздоровайся с дядей Эдди».

Я повиновался.

— Так. Значит, твои мать и отец за тебя переживают, правильно?

— Наверное, — тихо ответил я.

— Говори громче. Не мямли.

Дядя Эдди плюхнулся в кресло.

— В чем ты хорош?

Я стоял перед этим величавым седовласым суперменом и не мог выдать ни слова.

Отец неожиданно пришел мне на выручку.

— Расскажи дяде Эдди про свое увлечение астрономией.

Дядя Эдди окинул меня взглядом — будто заново оценивал жалкого мальчишку, стоящего перед ним.

— Астрономия, значит? Мой любимый предмет, — сказал он. — Ну, выкладывай, что знаешь.

— Я знаю названия девяти планет, — пробормотал я.

— Говори громче. Не слышу, — сказал он.

— Я знаю названия девяти планет, — повторил я.

— Ну, валяй.

Я оттарабанил:

— Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Меркурий ближе всех к Солнцу.

— Молодец, хорошо.

Мама одобрительно хмыкнула.

Дядя Эдди не унимался:

— А что еще знаешь?

— Солнце расположено в восьми с половиной световых минутах от Земли, в 93 миллионах миль отсюда, а ближайшая к нам галактика — Андромеда, и до нее два с половиной миллиона световых лет, а Галилей нажил себе неприятности, заявив, что Солнце — центр Солнечной системы, а полковник Фосетт бесследно сгинул в амазонских джунглях, а «Титаник» напоролся на айсберг в 1912 году, а Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке — самое высокое здание в мире, 1250 футов.

— Ну надо же, — сказал дядя Эдди. — И откуда ты все это знаешь?

— Из «Детской энциклопедии» Артура Ми. Отец купил мне ее, когда мне было шесть.

Это был один из лучших подарков в моей жизни. В тот день я побывал у зубного, и было очень больно. А когда мы вернулись домой, на пороге стояла большая коробка. Она оказалась такой тяжелой, что матери пришлось позвать мистера Джона, нашего соседа, — вдвоем они затащили ее в дом, подняли наверх и распаковали на столе. Это была энциклопедия в десяти томах. Десять безупречных синих книг в ряд — и все это для меня одного.

Хотя день выдался прекрасный и солнечный, меня уложили в постель — отходить после визита к стоматологу. В тот же

день я начал читать и в итоге одолел все десять томов. Сначала проглотил страницы о Бетховене и Моцарте, а после этого перешел к разделам «Природа», «Земля», «Все страны мира» и «Славные деяния». Я перечитывал эти книги раз за разом, пока обложки не начали отваливаться, и без малейших усилий запомнил длину всех крупнейших рек мира, а также столицы и флаги всех государств.

Своей декламацией я буквально парализовал всех присутствующих в комнате, но продолжал сыпать фактами до тех пор, пока отец не подошел сзади, не положил руку мне на голову и не сказал, что не стоит утомлять дядю Эдди.

— На сегодня хватит.

Я умолк, но дядя Эдди сказал отцу:

— Все в порядке, Ричард. Пусть мальчик говорит. Ему, похоже, есть что сказать.

Эдди посмотрел на меня — уже не сурово, а с некоторой симпатией.

— А что у тебя с чтением, Энтони? Какие книги тебе нравятся? У тебя есть любимая книга?

— «Ветер в ивах» Кеннета Грэма, «Пресвитер Иоанн» Джона Бакена, «Оливер Твист» и «Большие надежды» Чарльза Диккенса.

— «Большие надежды»? Бог ты мой. Чарльз Диккенс, значит? И кто у тебя любимый персонаж? Пип?

— Нет, каторжник Абель Мэгвич. А еще в «Оливере Твисте» мне нравятся Феджин и Билл Сайкс.

— Батюшки. Мистер Мэгвич, вот как? Злодей. Ну надо же. А Феджин — тот еще прохвост, правда? И Билл Сайкс. А Шекспир? Шекспир тебе нравится?

— Да, «Гамлет». — И я затынул: — «Быть или не быть, — таков вопрос; что благородней духом, — покоряться пращам и стрелам яростной судьбы иль, ополчась на море

смут, сразить их противоборством?» И еще «Юлий Цезарь». Мне нравится речь Марка Антония — «Великий Цезарь! Ты лежишь во прахе?» — и его «Друзья, сограждане, внимайте мне»⁴.

Дядя Эдди расхохотался.

— Господи помилуй, хватит, хватит.

Триумф. По комнате прокатился легкий смешок. По-моему, даже тетя Пэтти усмехнулась.

Вердикт дяди Эдди:

— Что ж, Ричард и Мардж... простите, Мюриэл... я полагаю, Энтони — просто мечтатель. Вот и все. Мечтатель. Вполне возможно, он еще всех нас удивит в один прекрасный день. Кто знает? Он ведь пишет? Как у него с правописанием?

— Очень хорошо, — ответила мать. — Он, по-моему, каждый день читает энциклопедии, и хорошо рисует, и играет на пианино. «Лунную сонату».

Они купили мне пианино, чтобы поощрять мои интересы, и это сработало. Я обожал играть на пианино и рисовать.

Дядя Эдди кивнул. Внезапно он величественно поднялся из своего кресла.

— Что ж, я считаю, ему не хватает *дисциплины*. Дополнительные занятия. Я завтра утром уезжаю в Лондон, довольно рано, собственно говоря, но я позвоню директору Коубриджской школы мистеру Идвалу Рису. Он превосходный человек — Кембридж, знаете ли. Да. Позвоню ему сегодня вечером или завтра. Лучше завтра. Позвоню из Лондона. Посмотрим, что можно сделать. Но мальчику определенно нужны дополнительные уроки арифметики и алгебры.

По дороге в Порт-Толбот мать сказала, что гордится мной. Отец покосился на меня в зеркало заднего вида.

⁴ Здесь и далее текст «Юлия Цезаря» в пер. М. Зенкевича.

— Да. Ну что ж, будем надеяться, дядя Эдди сможет подергать за ниточки.

И дядя Эдди смог. Благодаря ему и «Детской энциклопедии» Артура Ми меня приняли в Коубридж летом 1951 года в возрасте 13 лет. Я добился своего. По крайней мере так мне тогда казалось.

ВОРОН

Директором Коубриджа в те годы был Джон Идвал Рис — известный знаток Античности, выпускник кембриджского колледжа Святого Иоанна. Он преподавал греческий и играл за сборную Уэльса по регби. Строгий, подтянутый, неизменно в черном костюме и черной мантии, он словно не ходил, а скользил по школьным коридорам и двору. Я прозвал его Вороном. Впрочем, даже ниточки дяди Эдди Джеймса, позволившие пристроить меня в эту школу, ничуть не помогли мне почувствовать себя там своим.

Как-то в субботу утром Ворон, прекрасно зная, что другие мальчишки в спальне нас слышат, высказал мне в лицо все, что обо мне думает.

— Ты абсолютно никчемен, — изрек он. — В твоем непробиваемом черепе вообще хоть что-нибудь происходит? «Интересное словечко — “никчемен”!» — подумал я. Подзатыльник.

— Ну так что? В твоих никчемных мозгах хоть что-то шевелится? Отвечай.

— Нет. Не особо, — ответил я.

Еще подзатыльник.

— «Нет» — и что?

— Сэр...

— Так и скажи.

— Нет, сэр.

— То-то же. А теперь посмотри на свои руки. Лопаты, а не руки.

Он был, в общем, прав. Я вечно что-нибудь ронял и ломал. Был крепким, но до ужаса неловким — из тех, кто непременно разобьет тарелку в столовой или вырвет с мясом дверную ручку в коридоре.

— Ты ломаешь все, к чему прикасаешься. Безмозглая ломовая лошадь. Слоновья Башка — тебя ведь так зовут?

— Да.

— «Да» — и что?

— Сэр.

Подзатыльник не причинял особой боли — это была просто отметка, зарубка на прикладе. А вот замечание про «безмозглую ломовую лошадь» показалось мне занятным. Почем знать? Может, лучше быть ломовой лошастью, чем бестолковым школьником, которому постоянно отвечивают подзатыльники.

Дедушка Йейтс любил повторять: *«Забудь. Не копи обид. Помалкивай. Держи рот на замке. Не связывайся»*.

Хороший совет, лучше не придумашь. Я прикинулся тупым. И это превратилось в мое амплуа. Я был *никчемн*. Мой новый знак отличия.

Моим любимым местом стала городская библиотека. Я всегда таскал с собой блокнотик, который подарил мне дедушка Йейтс, — записывать всякое. В библиотеке я пролистал словарь до буквы «Н». А вот и это слово, в самом верху страницы: «Никчемный». Эта страница была полностью про меня. Чудо из чудес — мой детальный портрет в определениях и синонимах: «Некомпетентный. Негодный. Неспособный. Неприспособленный. Неумелый. Неподготовленный».

Школьные учителя дали моей проблеме имя и подзатыльниками вбили его мне в голову, точно Каинову печать, но те-

перь это клеймо обернулось моим даром и благословением. Вот он я. Отлично. Теперь я знал, кто я такой. Я даже подумал, что было бы забавно вклеить свое фото на ту самую страницу в словаре.

К спорту я был равнодушен. Школьная физкультура вызывала у меня отвращение. Какой смысл гонять дурацкий мяч по дурацкому полю с кучкой таких же дурацких детей? Они орали и визжали, когда забивали гол. «*Придурки*», — думал я. Вскоре я отстранился абсолютно от всего. Я даже перестал ходить на собственные дни рождения. Мать устраивала праздники, но я слонялся по улице, пока в доме все играли и ели торт.

Но у этого затворничества имелся скрытый бонус, приятная награда за новую игру в самоопределение: можно было без малейших усилий стать жертвой, мучеником. И сделать так, что они пожалеют. Я им еще покажу.

Однажды вечером меня вызвали в кабинет директора. Ворон вызывал меня уже во второй раз. В первый раз это произошло из-за жуткой книги, которая принадлежала моему отцу: фотоальбом об ужасах Первой мировой войны — с траншеями, грязью и кровавой бойней. Книга называлась «Союз со смертью» (*Covenant with Death*). Отец показывал ее мне, когда я был еще совсем малышом, лет пяти; я притащил ее в школу, и кто-то из учителей донес об этом Ворону.

— Где ты взял эту книгу? — спросил он.

— Отец дал.

— Отец? Он что, не в своем уме? Эта книга ужасна. Разве он не знает, что война — это славное дело?

Именно это слово он и произнес: *славное*.

Я включил свой коронный номер — непробиваемую отрезанность. Сработало.

Ворон велел мне убираться из кабинета. Книгу он конфисковал.

Раунд два. На этот раз меня застукали за чтением «Преданной революции» Льва Троцкого. Я взял ее в библиотеке Порт-Толбота и «забыл» вернуть. На меня настучал один из этих жалких, спесивых старост, мнящих себя божками.

И вот я снова стою в мрачном кабинете Ворона.

За окном на прямоугольной лужайке в гаснущем свете дня мальчишки играли в крокет. Единственная лампа у высоких книжных шкафов почти не освещала комнату. Ворон сидел за столом. В полумраке я едва различал его лицо. Костлявая рука лежала на обложке книги Троцкого.

— Зачем ты это читаешь? — спросил он. Голос звучал отстраненно. — Ты что, веришь в коммунизм? Ты сочувствующий?

Тишина.

— Тебе известно, что мы находимся в состоянии холодной войны с Советским Союзом? Ты слышал о Сталине?

— Да, сэр, — ответил я.

— Тогда зачем ты читаешь эту книгу?

— Я интересуюсь Русской революцией. Отец рассказывал мне, что Троцкого убили по приказу Сталина, — ответил я.

Снова повисла тишина. Единственным звуком был доносившийся со двора стук крокетных молотков по шару. Директор поднялся из-за стола, подошел к окну и стал смотреть на мальчиков во дворе.

От этого летнего света мне стало тоскливо.

Ворон заговорил тихо, без тени презрения:

— Похоже, тебе совершенно безразлично всё, чему здесь учат. Тебе это дается с трудом? Мистер Эванс жалуется, что ты ни капли не интересуешься математикой и химией. И вот ты стоишь здесь с томиком Троцкого. Твои родители в курсе, что ты читаешь такие книги?

— Да, сэр, — ответил я. — Мой отец в курсе.